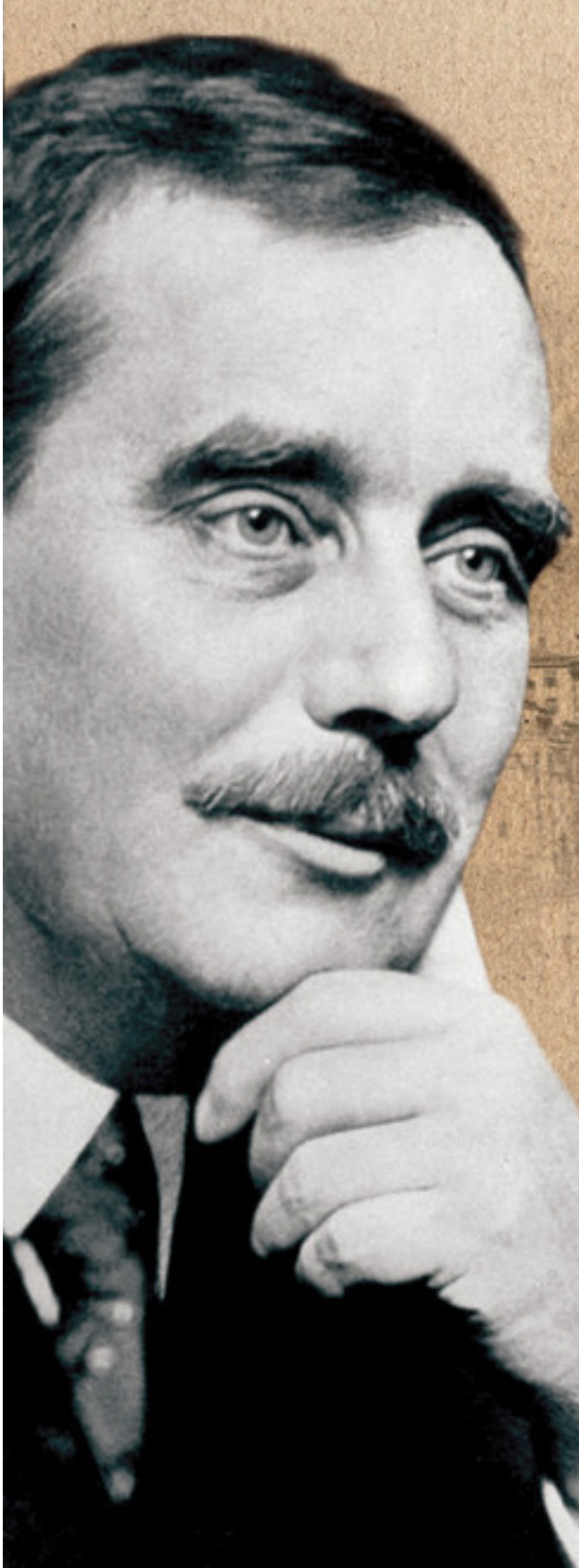
Герберт УЭЛЛС



РОССИЯ ВО МГЛЕ

ВЕЛИКИЙ ФАНТАСТ И КРЕМЛЁВСКИЙ МЕЧТАТЕЛЬ

Приключения иностранца в России

Герберт Уэллс

Россия во мгле

«Алисторус»
1920

Уэллс Г. Д.

Россия во мгле / Г. Д. Уэллс — «Алисторус», 1920 — (Приключения иностранца в России)

В 1920 году английский писатель Герберт Уэллс приехал в СССР. Он был в числе первых западных писателей, осмелившихся посетить страну Советов. Путевые очерки автору заказала газета «The Sunday Express». Писатель уже был однажды в России, в 1914 году, поэтому с радостью согласился на предложение. Ему было интересно увидеть то, как изменилась страна за эти годы.Осенью 1920 года Герберт Уэллс после пребывания в Советской России и по возвращении в Англию выпустил книгу «Россия во мгле», в которой рассказал о своих впечатлениях. Наверное, еще ни одна книга до этого не вызывала столько шума на Западе. Читайте и удивляйтесь!

© Уэллс Г. Д., 1920
© Алисторус, 1920

Содержание

Г. Д. Уэллс 6
Предисловие к первому русскому собранию сочинений[1] 10
Россия во мгле[2] 14
Гибнущий Петроград 14
Конец ознакомительного фрагмента. 17

Герберт Уэллс
Россия во мгле: Великий фантаст и кремлевский мечтатель

© Сост. Е. Бута (переводчики: К. Чуковский, И. Виккер, В.В. Пастоева, Е. Бондаренко, В. Горбатько), 2015
© ООО «ТД Алгоритм», 2015

* * *

Г. Д. Уэллс

(Вступительная статья к роману Г. Уэллса «Машина времени», 1920 г.)

Все наше удивительное время можно целиком заключить в одно слово: аэроплан. Все способы передвижения на земле – использованы человеком до конца: и вот человечество – отделилось от земли. Отделилось от всего старого, застоявшегося, привычного, окаменелого в течение веков – отделилось – и с замиранием сердца поднялось в воздух. Все человечество – на аэроплане над землей. С головокружительной высоты человечеству видны сразу необъятные дали, одним взглядом охватываются целые города, целые страны… С головокружительной высоты отдельные люди кажутся букашками; здания, которые с земли, снизу, представлялись огромными, – отсюда, сверху, виднеются, как маленькие коробочки. С несущегося аэроплана – все в новом, необычном виде: как будто самые глаза стали новыми. Все быстрее и все дальше от земли несется аэроплан человечества – кто знает куда? Может быть, аэроплан пристанет в новых, неведомых странах; может быть, аэроплан опустится на ту же самую нашу старую, прокопченную землю; может быть, аэроплан, управляемый сумасшедшим авиатором, рухнет вниз, оземь – и вдребезги. Но пока – мы мчимся: скрываются из глаз страны, королевства, короли, законы, веры…

Отличительная черта английского писателя Герберта Уэллса – тот же самый фантастический полет над землей, та же самая аэропланность, которая характеризует наши дни, – или, может быть, это не дни, а века? Недаром же Уэллс так любит описывать полеты на аэропланах, сражения в воздухе, путешествие на несущейся «машине времени».

Человек слишком быстро привыкает ко всему: мы уже привыкли к аэропланам. Но те, кто помнят первые неуклюжие подъемы аэропланов в воздухе, – помнят и то впечатление настоящего чуда, которое являлось у зрителей, помнят восторженный рев и бег толпы. Аэроплан – конечно, чудо, но чудо, питающееся бензином, – чудо – с научно, математически точно рассчитанными частями.

Эту же самую особенность, свойственную чуду аэроплана, – мы находим во всех чудесах, во всех сказочных фантазиях Уэллса. Он пишет иной раз о самых как будто невероятных, нелепых вещах: о путешествии на Луну (роман «Первые люди на Луне»), о войне с обитателями планеты Марс (роман «Борьба миров»), о человеческой жизни через 800 000 лет (роман «Машина времени»), о человеке-невидимке (роман «Невидимка»), о великанах (роман «Пища богов»). Но в этих как будто «сказках» – всякие чудеса творятся не так, как в русских сказках – «по щучьему велению»: все чудеса здесь питаются бензином, все чудеса – научно обоснованы, все чудеса – построены на строго логических основаниях. Оттого фантастические романы Уэллса так увлекательны. Уэллс вводит читателя в атмосферу чуда, сказки – очень постепенно, осторожно, с одной логической ступеньки на другую. Переходы со ступеньки на ступеньку – совсем незаметны; читатель, ничего не подозревая, доверчиво переступает, поднимается все выше… И вдруг – оглянется вниз, ахнет – а уж поздно: уж поверил в то, что по заглавию казалось совершенно невозможной, нелепой вещью: в путешествие на Луну, в великанов, в невидимку…

Ну вот, например, в «Невидимке»: такая с виду нелепая и сказочная вещь, как человек-невидимка. Но Уэллс строит эту сказку на основе действительно существующего, научного закона о способности световых лучей проходить через различные вещества, о способности предметов поглощать или отражать световые лучи. Кусок стекла – прозрачен, кусок стекла в воде – совершенно невидим. Но если истолочь стекло в порошок – порошок будет белого цвета, порошок будет видим очень хорошо. Стало быть – одно и то же вещество может быть, в зависимости от состояния его поверхности, и видимым, и невидимым. Правда, человек – живое вещество. Но что ж из этого? В морях живут морские звезды и некоторые морские

личинки – совершенно прозрачные. Стало быть, и человек… И читателю думается: «А что ж, ведь, пожалуй, и в самом деле…»

И так у Уэллса – везде: в романе «Остров доктора Моро» – ученый хирург искусными операциями превращает обезьян в людей; в основу романа «Первые люди на Луне» – положено изобретение «кэйворита», вещества, уничтожающего силу земного притяжения; сказка о гигантских людях, животных, растениях (роман «Пища богов») – построена на научном открытии особенно действующей на организм пищи. Все сказки Уэллса – это сказки ученого с необузданной фантазией; все фантазии Уэллса – фантазии химические, математические, механические; все фантазии Уэллса – может быть, вовсе не фантазии.

Как, правда, в наше время – время самых невероятных научных чудес – сказать: то или это невозможно? Ведь можем же мы теперь с помощью рентгеновских лучей видеть сквозь непрозрачные тела: далеко ли это от человека-невидимки? Можем же мы летать по воздуху: далеко ли это от ковра-самолета и от уэллсовского «кэйворита»? Можем же мы по радиотелеграфу переговариваться через тысячи верст? Разве двадцать пять лет назад все это не казалось бы нелепостью и сказкой еще большей, чем фантазии Уэллса? И может быть, еще через двадцать пять лет, через пятьдесят лет – мы так же спокойно будем смотреть на людей-невидимок и на машину, отправляющуюся на Луну, как спокойно смотрим теперь на витающий чуть заметной точкой в небе аэроплан…

С огромной, аэропланной высоты, на которую взлетает мысль Уэллса, – видно далеко не только назад, но и вперед. Не оттого ли в фантазиях Уэллса так много предвидения, так много положительно пророческого? Еще в 1906 году, когда был написан роман «В дни кометы», Уэллс предвидел возникновение всемирной войны и вслед за ней – грандиозный социальный переворот, положивший конец войнам на земле. В 1908 году, когда об аэропланах еще только мечтали, Уэллс уже написал роман «Война в воздухе»: нам теперь знакомые картины воздушных боев, немецких налетов на вражеские города, картины потрясающе быстрого падения старой цивилизации. Вот послушайте несколько отрывков из этого романа:

«Европейский мир не испытал медленного упадка, как древние цивилизации, которые постепенно угасали и распадались; европейская цивилизация была снесена в один миг. Она совершенно распалась в промежуток пяти лет…

От великих наций и империй остались только названия: повсюду были развалины, валялись мертвые, непогребенные тела, а те, кто пережил все эти ужасы, – были охвачены смертельной апатией. В одном месте – организовывались комитеты безопасности, в другом – бродили грабители и партизанские шайки, господствовавшие на голодных территориях…

…Деньги – исчезли чрезвычайно быстро: их запрятали в погребах, ямах, стенах домов, во всевозможных тайниках. Остались одни только обесцененные бумажки. Кредитная система, эта живая крепость научной цивилизации, зашаталась и рухнула на головы тех миллионов людей, которых она связывала раньше посредством экономических отношений».

Но вот, наконец, в умах людей – совершился переворот (роман «В дни кометы»), который уже отчасти происходит теперь на наших глазах, – и, может быть, произойдет еще в большем масштабе. В одно прекрасное время, вместо того чтобы начать бой – солдаты говорят: «Император… Да что за нелепость? Ведь мы – люди, культурные люди. Пусть-ка поищут кого-нибудь другого для таких убийств». И ружья перестали стрелять…

Так может писать или человек, переживший наши ужасные, удивительные дни, или пророк…

Уже приведенных отрывков достаточно, чтобы понять, как Уэллс относится к старой, построенной на броненосцах и пушках, европейской цивилизации. Авиатору самый страшный враг – земля: и для Уэллса нет врага ненавистней старой, обросшей густым мхом предрассудков земли; нет врага ненавистней старой, такой с виду приличной и благополучной, европейской цивилизации. Тут глаза Уэллса смотрят рентгеновскими лучами – и сквозь приличную

и благополучную внешность старого общественного строя – видят его уродливый, искривленный, источенный неизлечимой болезнью скелет. Старый мир, с его военщиной, неравенством, ожесточенной борьбой классов, национальной и расовой враждой – болен неизлечимо и обречен на гибель, если не произойдет какого-то глубочайшего переворота. Таково глубокое убеждение Уэллса – и красным цветом этого убеждения окрашено почти все написанное Уэллсом.

Вот – путешествие на Луну: как будто уж чего дальше от земли и ото всего, что творится на земле. Но и там фантазия Уэллса находит все те же наши, земные, общественные болезни. То же самое разделение на классы, господствующие и подчиненные: но рабочие уже превратились здесь в каких-то горбатых пауков; на безработное время их просто усыпляют и складывают в лунных пещерах, как дрова, пока опять не понадобятся. В романе «Спящий пробуждается» – человек проспал двести лет, проснулся – и что же? Непомерно разросшиеся могущество и власть капитала; непомерно усилившаяся эксплуатация рабочих; с оружием в руках – рабочие восстают против капитала… В романе «Машина времени» – рабочие загнаны в подземные пещеры, и классовая ненависть к обитателям верхнего, праздного мира вылилась в звериные, людоедские формы. Почти во всех своих фантастических романах Уэллс берет за исходную точку старый европейский общественный строй и только подчеркивает, только сгущает краски: в уродливых, часто отталкивающих образах жестокого зеркала уэллсовской фантазии – мы узнаем себя, наше время, нашу старую европейскую цивилизацию.

Иногда Уэллсу случается причалить свой аэроплан на землю – и от фантастики обратиться к быту. Тогда Уэллс чаще всего бродит в бедных кварталах города, среди мелких приказчиков, работниц, рабочих. Собирает голод, нужду, обиды – и переносит их на страницы своих романов («Киппс», «Тоно-Бэнгэ», «Колесо фортуны»). Заглянет Уэллс в богатый дом – непременно вытащит кого-нибудь из его беспечных обитателей на улицу, поведет в подвалы, на фабрики и покажет такое, что от беспечности не останется и следа («Жена сэра Айсэка Хармана»). И везде, всюду, всякой своей строкой Уэллс кричит: «Оглянитесь! Опомнитесь! Как мы живем? Так ли нужно?».

Читатель, вероятно, уже услышал то слово, которого мы еще не сказали: Уэллс – социалист. Не нужно этого понимать в смысле какой-нибудь партийной принадлежности Уэллса: наклеить художнику партийный ярлык так же невозможно, как выучить птицу петь по нотам, а если бы это и удалось – то выйдет не соловей, а скворец – не больше. Сам о себе Уэллс говорит: «Я всегда был социалистом, еще со времен студенчества, но социалистом не по Марксу…» «Для меня социализм – не есть политическая стратегия или борьба классов: я вижу в нем план переустройства человеческой жизни, с целью замены беспорядка – порядком…»

Во всяком случае, Уэллс – социалист, социалист убежденный. И если хоть бегло ознакомиться с его биографией – станет ясно, что иначе и быть не может: Уэллс сам прошел тяжелую трудовую жизнь – а это не забывается.

С тринадцати лет Уэллс служил мальчиком в магазине, потом – приказчиком. Все свободное от работы время – сидел над книгами, учился, учился. Бросил магазин, стал кое-как перебиваться уроками и одновременно изучал естественные науки в Лондонском университете. Кончил университет – был учителем: но умеющему летать – разве ужиться в клетке четырех школьных стен? Уэллс начал писать. Первая же его большая вещь – «Машина времени» – сделала ему имя. Теперь Уэллсу 53 года. Известность его все растет. Уэллса знают и любят уже не только в Англии. Вот и мы здесь, в далекой России, читаем Уэллса и находим в нем свое, близкое.

Это близкое, огненное дыхание революции, опаляющее теперь Россию, – может быть, чтобы возродить ее, может быть, чтобы сжечь. Это близкое – стремительный лет гигантского аэроплана, на котором мы несемся от старой земли в неведомое. Будем надеяться, что аэроплан наш пристанет в стране, где ненависть человека к человеку, войны и казни – будут так же

непонятны и отвратительны, как нам непонятно и отвратительно людоедство, где люди будут равны и свободны по-настоящему, где люди поймут, что они – братья, что они – люди…

Е. И. Замятин, 1919

Предисловие к первому русскому собранию сочинений[1]

Мне сказали: «Напишите предисловие к русскому изданию ваших сочинений».

Я удивился и обрадовался. Признаться, мне и в голову не приходило, что меня читают по-русски. И теперь, когда я приветствую своих нежданных читателей, – не правда ли, мне простительна некоторая гордость? Английский автор, выступающий перед читателями таких мастеров, как Толстой, Тургенев, Достоевский, Мережковский, Максим Горький, имеет право слегка возгордиться.

«Расскажите нам о себе», – попросили меня. Но чуть я принимаюсь за это дело и пытаюсь рассказать русскому читателю, что я за человек, мне с особенной силой приходит в голову, какая страшная разница между моим народом и вашим; разница в общественном отношении и в политическом. Вряд ли можно найти хоть одну общую черточку, хоть один клочок общей почвы, на которой мы могли бы сговориться. Нет общего мерила, которым мы могли бы мерить друг друга.

Когда я думаю о России, я представляю себе то, что я читал у Тургенева и у друга моего Мориса Беринга. Я представляю себе страну, где зимы так долги, а лето знойно и ярко; где тянутся вширь и вдаль пространства небрежно возделанных полей; где деревенские улицы широки и грязны, а деревянные дома раскрашены пестрыми красками; где много мужиков, беззаботных и набожных, веселых и терпеливых; где много икон и бородатых попов, где безлюдные плохие дороги тянутся по бесконечным равнинам и по темным сосновым лесам. Не знаю, может быть, все это и не так; хотел бы я знать, так ли.

А вы, в России, как представляете себе Англию? Должно быть, вам мерещатся дымные фабричные трубы; города, кишащие рабочим людом; спутанные линии рельсов, жужжание и грохот машин и мрачный промышленный дух, обуявший собою всех и вся. Если так, это не моя Англия. Это север и средняя полоса. Моя же Англия лежит к югу от Темзы. Там нет ни железа, ни угля; там узкие, прекрасно возделанные поля, обсаженные дубами и вязами, там густые заросли хмеля, как будто аллеи виноградников; там каменные и кирпичные дома; опрятные деревушки, но мужики в этих деревушках не хозяева, а наемники; там красивые старинные церкви и священники – часто богатые люди; там обширные парки, и за ними ухаживают, как за садами; там прекрасные старинные усадьбы зажиточных людей. Там я родился и провел всю свою жизнь, – только на несколько лет отлучался в Лондон и немного путешествовал. Там у меня тоже есть маленький домик с красной крышей, площадкой для тенниса и небольшим цветником. Этот домик я выстроил сам. Он стоит на берету, между двумя морскими курортами – Фолкстоном и Сэндгэтом, расположенными почти рядом, и, когда летними вечерами я прогуливаюсь на сон грядущий по маленькой террасе перед окнами моего кабинета, я вижу вращающиеся огни маяков на дружественных берегах Франции, в девятнадцати милях от меня.

Мне сейчас сорок два года, и я родился в том странном неопределенном сословии, которое у нас в Англии называется средним классом. Я ни чуточки не аристократ; дальше деда и бабки не помню никаких своих предков, да и о тех я знаю весьма немного, так как они умерли до моего рождения. У моего деда по матери был постоялый двор. Кроме того, он держал почтовых лошадей, покуда не прошла железная дорога, а мой дед по отцу был старший садовник у лорда де Лисли в Кенте. Он несколько раз менял свою профессию, и ему то везло, то нет. Отец мой долгое время держал под Лондоном мелочную лавчонку и пополнял свой бюджет игрою в крикет. В эту игру люди играют для развлечения, но она бывает также и зрелищем, а за зрелища платят деньги.

[1] Перевод К. Чуковского.

Это породило игроков-профессионалов вроде моего отца. Со своей торговлей он прогорел, и моя мать, которая до замужества была горничной, поступила экономкой в богатую усадьбу.

Мне тогда было двенадцать лет. Меня тоже прочили в лавочники. Чуть мне пошел тринадцатый год, я был взят из школы и поступил мальчиком в аптекарский магазин, но не имел там удачи и должен был перейти в мануфактурную лавку. Я пробыл там около года, но потом натолкнулся на мысль, что у меня есть возможность добиться лучшего положения посредством высшего образования, доступ к которому так легок у нас в Англии и с каждым годом становится все легче. Таким образом, я принялся изо всех сил заниматься, чтобы получить нужные мне права, которые дадут мне возможность поступить в университет. Спустя некоторое время я и поступил в Новый Лондонский университет, который так разросся и прославился теперь. Там я получил ученую степень и разные знаки отличия, весьма, впрочем, незначительные. Моим главным предметом была сравнительная анатомия, и занимался я под руководством профессора Хаксли, о котором русские читатели, без сомнения, знают. Первое русское имя, которое я научился уважать, было имя биолога А. О. Ковалевского.

Добившись диплома, я пошел в учителя и стал преподавать биологию. Но через два-три года бросил преподавание и занялся журнальной работой: в Англии это гораздо прибыльнее, да и влечение к этому делу всегда у меня было большое. Сначала я писал критические заметки, статьи и т. д., но потом пристрастился к фантастическим рассказам, используя в них богатые увлекательными возможностями идеи современной науки. На такие произведения в Англии и в Америке значительный спрос, и моя первая книга, «Машина времени», вышедшая в 1895 году, привлекла изрядное внимание и вместе с двумя последующими книгами, «Война миров» и «Человек-невидимка», обеспечила мне популярность – как раз такую, что я без особого риска мог целиком отдаться литературному труду.

Писательство – одна из нынешних форм авантюризма. Искатели приключений прошлых веков ныне сделались бы писателями. Пускай хоть немного посчастливится твоей книге – ну хоть так, как посчастливилось моим, – и в Англии ты тотчас же превращаешься в человека достаточного, вдруг получаешь возможность ехать куда хочешь, встречаться с кем хочешь. Все открыто и доступно тебе. Вырываешься из тесного круга, в котором вертелся до тех пор, и вдруг начинаешь сходиться и общаться с огромным количеством людей.

Ты, что называется, видишь свет. Философы и ученые, военные и политические деятели, художники и всякого рода специалисты, богатые и знатные люди – к ним ко всем у тебя дорога, и ты пользуешься ими, как вздумаешь. Вдруг оказывается, что тебе уже незачем читать обо всем в газетах и в книгах, ты все начинаешь узнавать из первых рук, подходишь к самым истокам человеческих дел. Не забудьте, что Лондон не только столица королевства; он также центр мировой империи и огромных мировых начинаний.

Быть художником – не значит ли это искать выражения для окружающих нас вещей? Жизнь всегда была мне страшно любопытна, увлекала меня безумно, наполняла меня образами и идеями, которые, я чувствовал, нужно было ей возвращать. Я любил жизнь и теперь люблю ее все больше и больше. То время, когда я был приказчиком или сидел в лакейской, тяжелая борьба моей ранней юности – все это живо стоит у меня в памяти и по-своему освещает мне мой дальнейший путь. Теперь у меня есть друзья и среди пэров, и среди нищих, и ко всем я простираю свое жадное любопытство и свои симпатии и ими, как нитями паутины, связываю верхи и низы человечества. Эту широту моего общественного положения я почитаю едва ли не самой счастливой моей особенностью, а другая счастливая моя особенность та, что я человек непритязательный, скромный, никому ничего не навязываю, преследую только литературные цели, не мечтаю о том, чтобы играть роль в свете, и ни на что не променяю я своей настоящей работы: наблюдать и писать, о чем хочу.

Почему я заговорил об этом? Потому что моя неустойчивость и мои переходы от одного общественного положения к другому могут объяснить тот утопический элемент, который был присущ моим первым произведениям.

Неустойчивые, неоседлые люди никогда не могут принять мир таким, каков он есть; но теперь, когда я перестал быть бродягой, я перешел уже за предел тех научно-фантастических идей, которые прежде были причиной моего успеха.

Правда, всего только месяц назад я держал корректуру новой фантастической повести «Война в воздухе» – о летательных машинах и о мировой войне, но такого рода вещи, повторяю, перестали поглощать все мое внимание. Чем дальше, тем фантастичнее и ярче кажется мне реальная действительность.

Первая моя вещь в реалистическом роде появилась в 1900 году под названием «Любовь и мистер Люишем», вторая вещь – «Киппс», посвященная изучению приказчичьей души, вышла в 1905 году. В промежутке между ними мною был создан ублюдок, помесь фантастики и реализма, – «Морская дева», где любовь, как мучительная страсть, символизирована в образе сирены. Теперь я заканчиваю сразу два романа, и оба, надеюсь, появятся сразу в будущем, 1909 году. Один называется «Тоно-Бенге» и будет объемистее обычных современных романов. В нем содержится попытка проследить карьеру одного продавца патентованных медицинских средств, основавшего для их сбыта особое промышленное товарищество, и таким образом выставить напоказ всю нелепую, построенную на рекламе, торгашескую цивилизацию, средоточием которой является все тот же Лондон. Не в пример моим прошлым романам, которые, в сущности говоря, были всегда как бы монографиями, посвященными одному персонажу, этот новый роман будет заключать в себе разнообразные типы. Другой роман посвящен современному положению женщины; в нем изображается развитие страсти в душе английской девушки новейшего типа – лондонской студентки [речь идет о романе «Анна-Вероника»].

Начиная с 1900 года я написал еще третью серию книг, и серия эта теперь, полагаю, закончена. Это мои социологические этюды; они были нужны мне для моих романов. Я стал писать их почти случайно. Прежде чем описывать жизнь тех или других личностей, мне понадобилось самому для себя, так сказать, для своего собственного назидания изучить те условия общественной жизни, в которых мы плаваем, как рыба в воде. Я написал книгу под названием «Предвидения», которая, принимая мир как некую развивающуюся систему, представляет собою попытку предсказать то, что может случиться через сорок – пятьдесят лет. Еще я не окончил этой книги, а уже почувствовал, что мне необходимо писать другую и представить прогресс мира как воспитательный процесс; это я выполнил в книге «Создание человечества». Эта книга привела меня к более общим вопросам, которые я пытался решить в «Современной утопии». Но в то самое время, когда мною писались эти книги, из них, как две боковые ветви, выросли два фантастических романа: «Пища богов», где открытая учеными пища увеличивает все предметы до гигантских размеров и таким образом изменяет масштаб всех человеческих дел, и другой роман – «В дни кометы», где представлены все последствия внезапного роста нравственных чувств в человечестве.

Я всегда был социалистом, еще со времен студенчества; но социалистом не по Марксу, а скорее по Родбертусу, – и вот однажды меня соблазнила мысль: взять все положения социализма, развить их по-своему до последней степени и посмотреть, что из всего этого выйдет; так создались еще две мои книги – «Новые миры вместо старых» и «Первое и последнее».

Русскому читателю нужно знать, что наш английский социализм во всех отношениях отличается от американского и от континентального социализма. Мы, англичане, парадоксальный народ – одновременно и прогрессивный, и страшно консервативный, охраняющий старые традиции; мы вечно изменяемся, но без всякого драматизма; никогда мы не знали внезапных переворотов.

Со времен Норманнского завоевания, 850 лет тому назад, у нас менялись династии и церковные иерархии, но чтобы мы что-нибудь «свергли», «опрокинули», «уничтожили», чтобы мы «начали все сызнова» – как это бывало почти с каждой европейской нацией, – никогда. Революционная социал-демократия континента не встречает отклика в широких кругах английского народа. Тем не менее мы все гуще и плотнее насыщаемся социализмом. Наш индивидуализм уступает место идеям общественной организации. Мы парламентарны по природе и по своему социальному развитию, в котором принимают участие все слои и все классы народа. Консерваторы, либералы и отъявленные социалисты ходят друг к другу в гости и за десертом обсуждают те уступки, которые они могут сделать один другому, – все в равной степени не веря в какие-нибудь твердые, непоколебимые формулы и все же молчаливо допуская страшную сложность и запутанность государственных и общественных вопросов. Это чувство, скорее национальное, чем принадлежащее лично мне, я надеюсь, будет замечено в моих социальных этюдах каждым русским читателем.

Эти этюды писались с 1901 года. Они послужили, так сказать, руководством для моих дальнейших писаний. Ими я как бы сказал себе: «Если ты хочешь стать изобразителем современной жизни, вот как ты должен поступать». Ведь у меня под ногами не было твердой почвы, вера отцов наших давно перестала быть нашей верой. Мне оставалось либо определить и выяснить свою собственную точку зрения, либо писать о жизни разбросанно, бессвязно и неуверенно. Теперь, после этой теоретической работы, я, кажется, имею некоторое право отдаться своему призванию и приняться за изображение хоть небольшой части этого огромного, величавого зрелища жизни, которое окружает меня и дает пищу моему наблюдению и опыту.

Иначе говоря, я надеюсь после всех приготовлений засесть наконец за писание бытовых романов и отдаться этой работе на много лет.

Я столько распространяюсь о себе и вдаюсь в такие подробности вот почему: ежели русские настолько добры, что читают меня и даже выпускают теперь собрание моих сочинений, так пускай же они знают меня по-настоящему, а не как-нибудь. Но, конечно, никто живее меня самого не чувствует, от каких случайностей и превратностей опыта зависит литературная работа. Что такое, в сущности, делаем мы все, мы, которые думаем и пишем? Мы отнюдь не какая-то особая каста вдохновенных людей, которые могут вещать о своих откровениях темному, непросвещенному миру. Мы просто голоса разнообразных людей, и каждый из нас выражает то, что думает и чувствует.

Многим из нас суждено прожить лишь одно мгновение – и потом исчезнуть навсегда. Кое-что из подмеченного нами, кое-что из предсказанного нами, может быть, и вспомнят потом, но кто это предсказал, кто подметил, забудут, и потеряют из виду, и никогда уж не припомнят опять. Мы рассказываем наши рассказы неведомым и безмолвным слушателям, и если мы им даем наибольшую меру нашего чувства и ума, чего еще можно требовать от нас? Наше дело – трудиться. А будет ли труд наш для немногих или для многих, хорош ли он будет или плох, на много лет или на секунду – не все ли это равно? Это касается только издателя и литературного критика.

1908

Россия во мгле[2]

Гибнущий Петроград

В январе 1914 года я провел недели две в Петрограде и Москве; в сентябре 1920 года г-н Каменев, член русской торговой делегации в Лондоне, предложил мне снова посетить Россию. Я ухватился за это предложение и в конце сентября отправился туда с моим сыном, немного говорившим по-русски. Мы пробыли в России 15 дней; большую часть из них – в Петрограде, по которому мы бродили совершенно свободно и самостоятельно и где нам показали почти все, что мы хотели посмотреть. Мы побывали в Москве, и у меня была продолжительная беседа с г-ном Лениным, о которой я расскажу дальше. В Петрограде я жил не в отеле «Интернационал», где обычно останавливаются иностранцы, а у моего старого друга Максима Горького. Нашим гидом и переводчиком оказалась дама, с которой я познакомился в России в 1914 году, племянница бывшего русского посла в Лондоне. Она получила образование в Ньюнхэме, была пять раз арестована при большевиках; выезд из Петрограда был ей запрещен после ее попытки пробраться через границу в Эстонию, к своим детям; поэтому уж она-то не стала бы участвовать в попытке ввести меня в заблуждение. Я говорю об этом потому, что на каждом шагу, и дома, и в России, мне твердили, что нам придется столкнуться с самой тщательной маскировкой реальной действительности и что нас все время будут водить в шорах.

На самом же деле подлинное положение в России настолько тяжело и ужасно, что не поддается никакой маскировке. Иногда можно отвлечь внимание каких-нибудь делегаций шумихой приемов, оркестров и речей. Но почти немыслимо приукрасить два больших города ради двух случайных гостей, часто бродивших порознь, внимательно ко всему приглядываясь. Естественно, когда желаешь посмотреть школу или тюрьму, показывают не самое худшее. В любой стране показали бы лучшее, и Советская Россия – не исключение. Это вполне понятно.

Основное наше впечатление от положения в России – это картина колоссального непоправимого краха. Громадная монархия, которую я видел в 1914 году, с ее административной, социальной, финансовой и экономической системами, рухнула и разбилась вдребезги под тяжким бременем шести лет непрерывных войн. История не знала еще такой грандиозной катастрофы. На наш взгляд, этот крах затмевает даже саму Революцию. Насквозь прогнившая Российская империя – часть старого цивилизованного мира, существовавшая до 1914 года, – не вынесла того напряжения, которого требовал ее агрессивный империализм; она пала, и ее больше нет. Крестьянство, бывшее основанием прежней государственной пирамиды, осталось на своей земле и живет почти так же, как оно жило всегда. Все остальное развалилось или разваливается. Среди этой необъятной разрухи руководство взяло на себя правительство, выдвинутое чрезвычайными обстоятельствами и опирающееся на дисциплинированную партию, насчитывающую примерно 150 000 сторонников (в действительности РКП(б) насчитывала в это время более 600 000 членов – *прим. ред.*), – партию коммунистов. Ценой многочисленных расстрелов оно подавило бандитизм, установило некоторый порядок и безопасность в измученных городах и ввело жесткую систему распределения продуктов.

Я сразу же должен сказать, что это – единственное правительство, возможное в России в настоящее время. Оно воплощает в себе единственную идею, оставшуюся в России, единственное, что ее сплачивает. Но все это имеет для нас второстепенное значение. Для западного

[2] Перевод И. Виккер и В. В. Пастоева.

читателя самое важное – угрожающее и тревожное – состоит в том, что рухнула социальная и экономическая система, подобная нашей и неразрывно с ней связанная.

Нигде в России эта катастрофа не видна с такой беспощадной ясностью, как в Петрограде. Петроград был искусственным творением Петра Великого; его бронзовая статуя все еще возвышается в маленьком сквере близ Адмиралтейства, посреди угасающего города. Дворцы Петрограда безмолвны и пусты или же нелепо перегорожены фанерой и заставлены столами и пишущими машинками учреждений нового режима, который отдает все свои силы напряженной борьбе с голодом и интервентами. В Петрограде было много магазинов, в которых шла оживленная торговля. В 1914 году я с удовольствием бродил по его улицам, покупая разные мелочи и наблюдая многолюдную толпу. Все эти магазины закрыты. Во всем Петрограде осталось, пожалуй, всего с полдюжины магазинов. Есть государственный магазин фарфора, где за семьсот или восемьсот рублей я купил как сувенир тарелку, и несколько цветочных магазинов. Поразительно, что цветы до сих пор продаются и покупаются в этом городе, где большинство оставшихся жителей почти умирает с голоду и вряд ли у кого-нибудь найдется второй костюм или смена изношенного и залатанного белья. За пять тысяч рублей – примерно 7 шиллингов по теперешнему курсу – можно купить очень красивый букет больших хризантем.

Я не уверен, что слова «все магазины закрыты» дадут западному читателю какое-либо представление о том, как выглядят улицы в России. Они не похожи на Бонд-стрит или Пикадилли в воскресные дни, когда магазины с аккуратно спущенными шторами чинно спят, готовые снова распахнуть свои двери в понедельник. Магазины в Петрограде имеют самый жалкий и запущенный вид. Краска облупилась, витрины треснули, одни совсем заколочены досками, в других сохранились еще засиженные мухами остатки товара; некоторые заклеены декретами; стекла витрин потускнели, все покрыто двухлетним слоем пыли. Это мертвые магазины. Они никогда не откроются вновь.

Сейчас, когда идет отчаянная борьба за общественный контроль над распределением продуктов и за то, чтобы лишить спекулянтов возможности фантастически взвинчивать цены на остатки продовольствия, все большие рынки Петрограда также закрыты. Прогуливаться по улицам при закрытых магазинах кажется совершенно нелепым занятием. Здесь никто больше не «прогуливается». Для нас современный город, в сущности, – лишь длинные ряды магазинов, ресторанов и тому подобного. Закройте их, и улица потеряет всякий смысл. Люди торопливо пробегают мимо; улицы стали гораздо пустыннее по сравнению с тем, что осталось у меня в памяти с 1914 года. Трамваи все еще ходят до шести часов вечера; они всегда битком набиты. Это единственный вид транспорта для простых людей, оставшихся в городе, унаследованный от капитализма. Во время нашего пребывания в Петрограде был введен бесплатный проезд. До этого билет стоил два или три рубля – сотая часть стоимости одного яйца. Но отмена платы мало что изменила для тех, кто возвращается с работы в часы вечерней давки. При посадке в трамвай – толкучка; если не удается втиснуться внутрь, висят снаружи. В часы «пик» вагоны обвешаны гроздьями людей, которым, кажется, уже не за что держаться. Многие из них срываются и попадают под вагон. Мы видели толпу, собравшуюся вокруг ребенка, перерезанного трамваем; двое из наших хороших знакомых в Петрограде сломали ноги, упав с трамвая.

Улицы, по которым ходят эти трамваи, находятся в ужасном состоянии. Их не ремонтировали уже три или четыре года; они изрыты ямами, похожими на воронки от снарядов, зачастую в два-три фута глубиной. Кое-где мостовая провалилась; канализация вышла из строя; торцовые мостовые разобраны на дрова. Лишь один раз видели мы попытку ремонтировать улицу в Петрограде. Какая-то таинственная организация доставила в переулок воз торцов и две бочки смолы. Почти все наши длительные поездки по городу мы совершали в предоставленных нам властями автомобилях, оставшихся от былых времен. Автомобильная езда состоит из чудовищных толчков и резких поворотов. Уцелевшие машины заправляют керосином. Они испускают облака бледно-голубого дыма, и, когда трогаются с места, кажется, что началась

пулеметная перестрелка. Прошлой зимой все деревянные дома были разобраны на дрова, и одни лишь их фундаменты торчат в зияющих провалах между каменными зданиями.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.